А.С.Курилов

ВВЕДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ И СУДЬБЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ ТОГО ВРЕМЕНИ В ОЦЕНКЕ РУССКИХ ФИЛОЛОГОВ XVIII ВЕКА

Христианство и древнейшая русская словесность... Эта проблема встала перед нашей историко-филологической мыслью уже в XVIII в., на заре ее формирования, когда вместе с собственными “мнениями о начале поэзии и стихов вообще” и “разумением” о наших “самых первоначальных стихах” возникают первые концепции развития русской литературы. И хотя в распоряжении филологов тех лет еще не было памятников нашей древней “изящной словесности”, “изящных письмен” эпохи крещения Руси, где прямое или косвенное воздействие христианства на отечественную литературу (поэзию) прослеживалось с достаточной определенностью, являясь необходимым условием для предметной, а не абстрактной, умозрительной постановки проблемы, однако и факт крещения — события огромного, поистине общенационального значения, и последовавшие затем глубокие преобразования духовной жизни русичей уже сами по себе говорили, что такая проблема существует, что преображение духовной сферы не могло не повлечь за собою изменение и словесности (литературы, поэзии) — важнейшей ее составляющей.

Хорошо зная, как вводилось на Руси христианство, филологи XVIII в. имели все основания полагать, что и древнейшая русская поэзия не избежала тогда общей участи, выпавшей на долю язычества и всего так или иначе с ним связанного. А потому проблема “христианство и древнейшая русская словесность” уже при самой ее постановке приобрела вопросительную форму: что принесло отечественной словесности введение христианства, как оно сказалось на судьбе нашей древнейшей, языческой по своей природе и мировоззрению поэзии, на характере последующего национального литературно-художественного развития? Отвечая на эти вопросы, наши филологи одновременно намечали и периодизацию самого раннего этапа истории древнерусской поэзии (словесности), обозначая не только исторические дали отечественной литературы, но определяя и точку отсчета ее исторического времени.

Первым, кто задался этими вопросами и предложил свои ответы на них, был В.К.Тредиаковский.

1

В своем "Мнении о начале поэзии и стихов вообще" (опубл. в 1752 г.) он, опираясь на историю возникновения поэзии у древних народов, приходит к выводу, что и на Руси, как и в других странах, также существовала дохристианская поэзия. Наглядное тому свидетельство, считает он, "мужицкие", народные песни, которые донесли до нас не только своеобразие поэтических образов, представлений и верований того времени, но и давали определенные основания судить о самой форме древнейших русских стихов: они "состояли стопами, были без рифм и имели тоническое количество слогов..."[1].

Здесь Тредиаковский первым из наших филологов применил, с одной стороны, метод *исторической типологии*, с другой — метод *реконструкции* явлений прошлого по известным настоящему фактам, приняв за основу принцип *вероятности*, чтобы получить ответ на вопрос: какими могли быть самые ранние русские стихи? Тем самым он делает эти методы и этот принцип достоянием отечественной историко-филологической мысли в качестве инструмента познания литературы и прежде всего древнейшей нашей словесности.

Разделяя общепринятую наукой того времени точку зрения, что именно пастухи были изобретателями и распространителями поэзии, опираясь на обозначенные выше методы и принцип вероятности, Тредиаковский имел все основания предположить, что и наша первоначальная поэзия возникала и бытовала точно так же, как и у других народов, подразделяясь по своему характеру на *собственно пастушескую* и *культовую*. Одну у нас создавали простые люди, которые пели "увеселения свои и любовь", вводя "по пристойности часто в те песни стада свои, леса, источники и все вещи, кои знакомее им были", другую — "наши поганские (т.е. языческие — *А.К.*) жрецы", сочинявшие песнопения в честь своих богов[2].

О содержании и поэтике пастушеской поэзии, считает он, можно судить по дошедшим до нас произведениям устного народного творчества, "мужицким песням", и для наглядности приводит "несколько отрывченков от наших подлых (т.е. народных — *А.К.*), но коренных стихов...

Отставала лебедь белая
Как от стада лебединова.

У колодезя, у студенова,
Доброй молодец сам коня поил,
Красна девица воду черпала.

Ярка не ярка, баран не баран,

Стара овечка не яриначка.
Далече, ох, далече во чистом поле
Не травка не муравка зашаталася.

Не шуми мати зелена дуброва,
Не мешай цвести лазореву цвету.

Ой, ты полюшко чисто,
Ничево мне ты поле не родило,
Ох, ты родило только рокитов куст[3].

Какова же была наша культовая, т.е. непосредственно языческая поэзия, именно поэзия, а не формы стиха, не стихосложение, которое ничуть, в чем он был убежден, не отличалось от стиха пастушеского,— этого Тредиаковский даже вообразить себе не мог. Не мог по той простой причине, как он сам отмечал, что "нет ни одного оставшегося у нас обрасчика языческой нашей поэзии..."[4].

В тот момент Тредиаковский еще не задавался вопросом: почему же образцы одной поэзии — народной, пастушеской, сохранились, пусть не в первозданном виде, но тем не менее сохранились, сумели дойти до нас сквозь толщу веков, а образцы другой — культовой, собственно языческой, нет? Однако такой вопрос напрашивался, напрашивался сам и вполне естественно. Допустив вероятность существования на Руси языческой поэзии, необходимо было объяснить, что же с ней стало, как сложилась ее судьба, почему же не осталось от нее ни одного "обрасчика"? С ответа именно на этот вопрос и начнет Тредиаковский свое "историческое описание... российского нашего стихосложения" в статье "О древнем, среднем и новом стихотворении российском" (1755)[5].

Поместив в своем "Мнении о начале поэзии и стихов вообще" несколько "отрывченков" из произведений народной поэзии, которые даже в таком усеченном виде доносили до читателя красоту и прелесть наших древнейших, "коренных" стихов, показывая их высочайшие художественные достоинства, Тредиаковский в новой своей работе дает понять, что наша языческая, культовая поэзия по своему уровню значительно превосходила поэзию народную, пастушескую, так как языческие жрецы "были главные и лучшие в нашем обществе слагатели стихов"(469). Выражение "лучшие слагатели стихов" подразумевало, что и "сложенные" ими стихи были самые лучшие.

Художественное превосходство языческой, культовой поэзии над простонародной, пастушеской было для Тредиаковского не просто очевидным, а, можно сказать, априорным. Оно в его глазах определялось, во-первых, бесспорностью того, что "во всех человеческих обществах (следовательно и у нас — *А.К.*), от самыя первоначальныя древности, богослужители были первенствующими стихотворцами и владели стихами всюду, как

законным и природным своим наследием"(469), и во-вторых,— непревзойденной высотой источника вдохновения — Божества, прославление которого являлось главной целью богослужителей-жрецов.

Считая, что именно в прославлении Божества с наибольшей полнотой только и мог раскрыться поэтический дар древнейших наших "слагателей стихов", Тредиаковский понимает, что при этом существенной роли не играло то обстоятельство, что само Божество было языческим: Бог всегда оставался Богом, независимо от характера представлений о нем. Даже если он был и не один, как в греческой мифологии или язычестве славян. Богослужители-жрецы прославляли в стихах Бога (Божество) или Богов как таковых, потому что они — Боги. Сознание этого и было определяющим в творчестве стихотворцев "во всех человеческих обществах, от самыя первоначальныя древности", обусловливая и обеспечивая высокий художественый уровень их песнопений в честь своих Божеств или Богов.

Однако то, что было естественно и похвально в одной системе религиозных воззрений, становилось чуждым и неприемлемым в другой, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Подобную метаморфозу духовного мира суждено было испытать тогда в первый, но, к сожалению, не в последний раз, и нашему отечеству. Смена религиозной ориентации русского общества самым роковым образом сказалась на судьбе нашей культовой, языческой, богослужебной по своему характеру и назначению поэзии. На это и укажет Тредиаковский в статье "О древнем, среднем и новом стихотворении российском", одновременно отвечая и на вопрос, почему "не осталось нигде для нас, по крайней мере неизвестно нам всем поныне ни о самом малом обрасчике, оставшемся от языческого нашего стихотворения: *истребило* его наставшее благополучно Христианство (выделено мною — *А.К.*)"(469-470).

Предложенный Тредиаковским ответ становится по сути первым действительно фундаментальным, без всяких натяжек, открытием, сделанным нашей филологической мыслью в процессе начавшегося познания истории отечественной поэзии (литературы), обозначив важнейшую, поистине переломную веху на заре ее жизни, оказавшуюся вместе с тем исходной для формирования всей последующей национальной художественной культуры. Открытие это было значительным еще и потому, что позволило обнаружить существование самой тесной связи между событиями гражданской истории, определяющими уклад общественной и духовной жизни государства, народа, и литературно-художественным развитием, направленностью творческой деятельности, выбором источников вдохновения, тематики и проблематики произведений искусства, наличие прямой зависимости *второго*, т.е. литературы и искусства, их состояния, характера и уровня, от *первого*, т.е. от общества.

Все это имело непреходящее значение для становления национальной историко-литературной мысли, методологии рождавшегося у нас историко-литературного познания. Можно даже сказать, что именно отмеченное выше открытие Тредиаковского положило начало формированию отечественной истории литературы как науки.

Научной, в полном смысле, находкой было и само слово "истребило", достаточно точно отражавшее целенаправленный характер действия приверженцев нового у нас вероучения по отношению ко всему, что было так или иначе связано с вероучением прежним. Именно точность этого слова сделала его привлекательным для Тредиаковского. Он еще дважды пользуется им, не отказываясь и от синонимов "искоренило", "уничтожило", объясняя, *почему и что именно* истребило "наставшее благополучно Христианство".

Почему оно истребило "языческое наше стихотворение" было совершенно ясно: "...обстоятельства проповедников и церковных дел того требовали"(471-472). Но Тредиаковскому было ясно также и то, что подобная участь постигла далеко не все отечественное стихотворение той поры. Порукой тому был исторический опыт утверждения христианства среди других народов, а также "простонародные наши песни", которые выступали "неподозрительными, ответствую,— заявлял он,— и живыми свидетелями" того, что "самые древние песни", не относящиеся к культовой, языческой поэзии, христианство не тронуло(470-472).

Воззрив "на начало нашего Христианства, видим мысленно,— писал Тредиаковский,— сущую нужду его токмо то истребить у нас, что непосредственно до богослужения ложного касалось: на народные, гражданские и дружеские употребления не с толиким сначала ревнованием оно взирало"(471). Принцип вот такого, выборочного подхода к существовавшим материальным и духовным ценностям и "историбление", "искоренение", "уничтожение" лишь той их части, какая не соответствовала, не отвечала христианским воззрениям на мир, на жизнь, человека, природу, ритуальной или обрядовой стороне богослужения и т.п., был характерен и при распространении этого вероучения в других странах. "Так точно,— заметил Тредиаковский,— сие было в самой первенствующей церкви, от язычников еллинов обратившейся; так равно надлежало быть ему и в нашем первоначальном Христианстве..."(471).

Дав представление о ситуации в целом, сложившейся в период смены у нас системы религиозных воззрений, Тредиаковский затем обращается непосредственно к предмету своего исследования — истории отечественного стихотворения, к выявлению того, что же истребило, а что оставило нетронутым в словесном искусстве той эпохи христианство. Этот переход от общего к частному свидетельствовал, что в лице Тредиаковского наша молодая филология свои первые шаги на поприще

историко-литературного познания делала, опираясь на самую передовую научную методологию. В результате Тредиаковский приходит к еще одному открытию — о двойственной роли христианства в судьбе отечественной поэзии того времени: *роковой* по отношению к языческому, богослужительскому стихотворению и *нейтральной* по отношению к остальной поэзии и прежде всего народной.

"Итак,— скажет он,— многодельное тогда первое наше Христианство, хотя искоренило все многобожные служения и песенные прославления мнимым богам и богиням, однако с пренебрежения, или за упражнениями, не коснулось к простонародным обыкновениям: оставило ему забаву общих увеселительных песен..."(472). Выходило, что христианство истребило целый пласт отечественной литературы, художественно самый значительный, самый ценный, самый высокий по содержанию — "песенные прославления" богов и богинь. И совершенно не тронуло песни народные, "увеселительные", забаву "простонародных обыкновений".

Это открытие позволило Тредиаковскому понять непреходящую историческую ценность "простонародных, мужицких и других содержаний песен", которые сумели сохранить и донести до нас "первородное и природное наше, с самыя отдаленныя древности, стихосложение, пребывающее и доднесь"(472), и обозначить два пути, две магистральные линии в историческом развитии нашей литературы (поэзии).

Одна — продолжала и развивала национальные поэтические традиции, заложенные еще в дохристианской Руси, никогда в дальнейшем не прерывалась и дошла до середины XVIII в., эпохи Тредиаковского. Ее основу составило поэтическое творчество самого народа, с "отрывченками" из произведений которого Тредиаковский ранее уже познакомил своих читателей. Другая — рождалась в борьбе с "песенными прославлениями" языческих богов и богинь, положив у нас начало поэзии качественно новой по своей форме и содержанию — христианской.

Утверждение новой поэзии сопровождалось как утратами, так и приобретениями. Среди самых значительных, чувствительных и, пожалуй, самых неоправданных и невосполнимых утрат был, по мнению Тредиаковского, отказ от традиции *стихотворных* песнопений в честь богов. "Начавшееся у нас Христианство, истребившее все идольские богослужения и уничтожившее вконец сплетенные песни стихами в похвалу идолам,— скажет он,— лишило нас без мала на шестьсот лет богочтительного стихотворения"(472). Лишило по той простой причине, что "духовные песни", которые оно принесло с собою на Русь, все "священные гимны, стихиры и двустишия" были переведены у нас *прозою*. С этого момента богочтительным языком становится у нас исключительно язык прозаический. И "пребывала таким образом наша церковь,— отметит Тредиаков-

ский,— с X века по XVI включительно без стихов, собственно так называемых по составу, имея впрочем стихи, только ж в прозе". Лишь в 1581 г. "явились стихи первократно при Библии Острожской на нашем языке"(474) и наметился возврат к "богочтительному стихотворению". Однако потребовалось еще сто лет, чтобы необходимость такого "стихотворения" была до конца осознана, возникли необходимые условия для ее воплощения в реальной художественной практике и появился первый стихотворный перевод Псалтыри — "Псалтырь рифмотворная" (1680) Симеона Полоцкого.

Запрет на "богочтительное стихотворение" не прошел бесследно, сыграв поистине роковую роль в судьбе нашей внецерковной, внебогослужебной литературы: из ее практики также была исключена стихотворная речь. Лишенная права создавать стихотворные произведения на протяжении более чем шестисот лет, в условиях поразительной по своей длительности несвободы в выборе поэтического языка, литература наша, искусственно ограниченная в своих творческих возможностях, в художественном отношении пострадала так и настолько, что этого даже невозможно себе представить. И сей печальный в ее истории факт также впервые отметил Тредиаковский. Потому, что перевод священных песен был "нам предан прозою", скажет он, "от сего сверьх (т.е. вопреки — *А.К.*) природной способности, вкоренилась между нами проза за единственный способ речи; а заключенное мерами и числами слово, то есть стихотворение оное важнейшее, совсем позабыто..."(473). Отсюда становится понятным старание Тредиаковского, не жалевшего на то ни сил, ни времени, восполнить этот недостаток отечественной литературы, реабилитировать в художественных правах стихотворную речь и не только создать у нас "науку стихотворную", привить вкус к стихотворному творчеству, "стиховной поэзии", предлагая вниманию соотечественников самые разнообразные образцы ее форм и размеров, но и возродить у нас традиции национального стихосложения, отвечавшего самой природе русского языка.

Тредиаковский несомненно догадывался и сознавал, насколько в более выгодном, неизмеримо выгодном по сравнению с другими видами словесного искусства, оказалась тогда собственно народная литература. Ее творцы были абсолютно свободны и независимы как в выборе доступных им художественных форм, так и в способах поэтической речи. Ничем не стесненные, они создавали самые разные стихотворные — песни, былины, частушки, прибаутки, поговорки и т.д.— и самые затейливые прозаические произведения — сказки (волшебные, бытовые, о животных и т.п.), легенды, притчи... Они вместе со своим народом жили достаточно полнокровной художественной жизнью, несмотря на то, что "простонародное стихосложение, за подлость стихотворцев и материй, от честных и саном знаменитых людей презираемо было всеконечно", да "и поныне, но уже

незнающие и суетно строптивые люди зазирают неосновательно..."(473).

Касаясь приобретений нашей литературы от "наставшего благополучного Христианства", Тредиаковский отметит, что оно "награждало нас духовными песньми по временам, благороднейшими языческих и по содержанию, и по сладости, и по душевной пользе..."(472). Это действительно заслуга и немалая. Но, к сожалению, что невольно вырывается у Тредиаковского, все приобретенное нашей литературой после принятия христианства, сделавшее ее — по сравнению с языческой, "идолохвалительной" поэзией,— благороднейшей по содержанию, сладости и душевной пользе, не покрывало, не компенсировало того, чего христианство лишило нас (и прежде всего "богочтительного стихотворения") на протяжении последующих шести (!) веков, не дав даже раскрыться, не говоря уже проявиться, нашей "природной способности" — стихотворчеству. По-сути оно заглушило эту способность на корню, оставив как отечественную богочтительную, так и внецерковную, внеслужебную литературу без "стиховной", прославленной у всех народов, поэзии...

Обратившись к нашим "самым первоначальным стихам", древнему российскому стихосложению, пытаясь понять роль христианства в судьбе отечественной поэзии, Тредиаковскому, как мы видели, удалось сделать немало открытий в истории нашей литературы и не только самой древней, придти к целому ряду неожиданных заключений и серьезных выводов или подвести к ним вплотную рождавшуюся национальную историко-литературную мысль. Признавая это, нельзя не сказать, что вклад в отечественную науку выдающегося нашего филолога XVIII в. все еще остается до конца нераскрытым, неизученным и по достоинству неоцененным.

Современная ему и последующая историко-литературная мысль, да и наша историко-литературная наука XX столетия, что не составляет особого труда заметить, воспользовались далеко не всеми отмеченными нами выше открытиями и выводами Тредиаковского. И во многом по причине их оригинальности и неожиданности. Однако сейчас, только приступив к их осознанию, начинаешь понимать, что в свете сделанных им открытий и выводов, пусть и осознаваемых с таким опозданием, история нашей литературы X-XVII вв. нуждается в новом прочтении, если не сказать — в прочтении заново. Но это уже вопрос, выходящий далеко за пределы данной работы...

2

Сосредоточившись в основном на вопросе "христианство и древнерусская "стиховная поэзия", Тредиаковский при этом фактически опустил один существенный аспект проблемы, связанный непосредственно с появлением у нас христианской

переводной литературы, "духовных песен" — священных гимнов, стихиров и проч. Для ответа на интересовавший его вопрос аспект этот не имел сколько-нибудь принципиального значения. Однако его нельзя было никак обойти, касаясь истории отечественной словесности в целом и прежде всего истории нашего литературного, поэтического языка.

Первым обратил на него внимание М.В.Ломоносов в своем "Предисловии" ко второму изданию первого тома "Собрания разных сочинений в стихах и прозе" — "О пользе книг церковных в российском языке"(1758).

"...Купно я греческим христианским законом,— скажет он,— когда церковные книги были переведены с греческого языка на славенский для славословия Божия", язык наш обогатился "множеством речений и выражений разума", какие были ему до того неведомы. "Отменная красота, изобилие, важность и сила эллинского слова" благотворно сказались на нашем языке. "Ясно сие видеть можно вникнувшим в книги церковные на славенском языке,— пишет Ломоносов,— коль много мы от переводу ветхого и нового завета, поучений отеческих, духовных песней Дамаскиновых и других творцов канонов видим в славенском языке греческого изобилия и оттуда умножаем довольство российского слова...". И хотя, заметил он, "многие места оных переводов недовольно вразумительны; однако польза наша весьма велика"[6].

Ломоносов сам же объяснит и причину появления у нас в первых переводах "недовольно вразумительных" мест. Это было связано с тем, скажет он, что "сначала переводившие с греческого языка книги на славенской не могли миновать и довольно остеречься, чтобы не принять в перевод свойств (т.е. слов и выражений — *А.К.*) греческих, славенскому языку странных...". Затем он коснется и судьбы этих, по сути калькированных, а потому поначалу и "странных" для россиян слов и выражений, которые "чрез долготу времени слуху славенскому перестали быть противны, но вошли в обычай". И закончит свой краткий экскурс в историю новой лексики, вошедшей в наш язык вместе с "греческим христианским законом" и переводом церковных книг, констатацией свершившегося ее обрусения. "Итак,— скажет Ломоносов,— что предкам нашим казалось невразумительно, то нам ныне стало приятно и полезно"(4).

Приобщение к греческому языку через перевод церковных книг, начавшееся у нас после введения христианства, необычайно, полагает Ломоносов, возвысило "славенороссийский язык", сделало его значительно богаче, более выразительным и гибким. "Справедливость сего,— отмечает он,— доказывается сравнением российского языка с другими, ему сродными". Во-первых, с польским, который много потерял оттого, что "поляки, преклонясь издавна в католицкую веру, отправляют службу по своему обряду на латинском языке, на котором их стихи и

молитвы сочинены во времена варварские по большей части от худых авторов, и потому ни из Греции, ни от Рима не могли снискать подобных преимуществ, каковы в нашем языке от греческого приобретены". И во-вторых, с немецким, который "был убог, прост и бессилен, пока в служении употреблялся язык латинский", но все решительно изменилось, "как немецкий народ стал священные книги читать и службу слушать на своем языке; тогда богатство его умножилось, и произошли искусные писатели"(4).

Ломоносов считает, что перевод церковных книг и их последующее обрусение принесли великую пользу отечественной словесности, в том числе и литературе. Именно от книг церковных, утверждает он, мы приобрели "богатство к сильному изображению идей важных и высоких..."(7).

Обратившись к истории "славенороссийского языка", выясняя роль христианства в его развитии, влияние переводов церковных книг на обогащение отечественной лексики, Ломоносов приходит к выводу, что церковнославянский язык — язык переведенных на "славенское наречие" церковных книг, стал важнейшей составной частью природного нашего языка. Это, как нетрудно заметить, и приводит его к созданию национального учения "о трех штилях".

Исходным в разработке учения становятся результаты ломоносовских наблюдений над современной ему разговорной и литературной практикой, характером использования соотечественниками имеющегося у нас словарного запаса. Оказалось, что "чрез употребление книг церковных" в российском языке сформировалось "три рода речений", "от рассудительного употребления и разбору" которых "рождаются три штиля: *высокий, посредственный и низкий*". Высоту высокого и в известной мере посредственного штиля определяли как раз те речения, "которые у древних славян и ныне у россиян общеупотребительны" и наиболее полно были представлены именно в церковных книгах(5). И далее Ломоносов не раз подчеркнет, что своей высотой язык наш во многом обязан лексике, вошедшей в него из текстов переведенной славенами христианской богослужебной литературы.

Таким образом, оттолкнувшись от языковой ситуации, сложившейся у нас после введения христианства, указав на благотворную роль приобщения древних славян посредством переводов на родной язык церковных книг к "эллинскому слову", на котором, "кроме древних Гомеров, Пиндаров, Демосфенов и других в эллинском языке героев, витийствовали великой христианской церкви учителя и творцы, возвышая древнее красноречие высокими богословскими догматами и парением усердного пения к Богу"(3), Ломоносов подходит к решению проблемы выразительности нашего литературного языка и будущего отечественного слова.

И то и другое, считает он, связано непосредственно с изменением отношения к церковным книгам как не только богослужебным, но и как хранилищу несметного богатства "славенороссийского языка". Почитанием коренного нам славенского, т.е. церковно-славянского языка, языка древнецерковных книг, заявляет Ломоносов, "великолепные сочинитель мысли сугубо возвысит". А посему, пишет он, "всем любителям отечественного слова беспристрастно объявляю и дружелюбно советую, уверясь собственным своим искусством, дабы с прилежанием читали все церковные книги...". Такое чтение и последующее "старательное и осторожное" употребление "сродного нам коренного языка купно с российским" способно отвратить "дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков... и российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен утвердится, коль долго церковь российская славословием Божиим на славенском языке украшаться будет"(7-8).

Выходя несколько за хронологические рамки исследования, отмечу еще одно преимущество, "выгоду", по словам Ломоносова, какой "лишены многие языки", но какую принес и продолжал приносить церковнославянский язык. Он являлся цементирующей частью российского языка, благодаря чему наш народ, говорит Ломоносов, "по великому пространству обитающий, невзирая на дальное расстояние говорит повсюду вразумительным друг другу языком в городах и в селах"(7). И остается языком национального единения и взаимопонимания народов на территории всей России, в отличие, например, от Германии, где "баварский крестьянин мало разумеет мекленбургского или бранденбургский швабского, хотя все того ж немецкого народа"(7). И это непонимание друг друга немцев обусловлено тем, что одни из них читают богослужебные книги и отправляют службу на немецком языке, а другие — на латинском, вследствие чего их языки лишены единой языковой основы, цементирующей их силы.

Но церковнославянский язык является и языком общеславянского единения и взаимопонимания. Взять, к примеру, пишет Ломоносов, живущие за Дунаем народы славянского поколения, которые "греческого исповедания держатся". Они, "хотя разделены от нас иноплеменными языками, однако для употребления славенских книг церковных говорят языком, россиянам довольно вразумительным, который весьма много с нашим наречием сходнее, нежели польский, невзирая на безразрывную нашу с Польшею пограничность"(7). Тому причиной — латинский язык польской церкви и богослужебных книг, что оказало существенное влияние на характер и лексику собственно польского языка, заметно отдалив его от природного "славенского корня".

Ломоносов дал очень высокую оценку роли, какую, как он считал, суждено было сыграть переводам церковных книг в

судьбе языка древних славян, приобщившихся таким образом к красоте, изобилию, важности и силе греческого слова. Однако ломоносовское понимание языковой ситуации, сложившейся на Руси накануне принятия христианства, освещение им состояния, уровня и возможностей тогдашнего нашего языка носят противоречивый характер.

Желая подчеркнуть значение церковных книг, великую от того пользу для "славенского языка", природного нашего слова, он не заметил, как принизил отечественный язык того времени, начав свое "Предисловие" утверждением, что мы не имели письменности вплоть до принятия христианства, что до крещения Руси "славенский народ не знал употребления письменно изображать свои мысли, которые тогда были тесно ограничены для неведения многих вещей и действий, ученым народам известных"(3), что только вместе с христианством пришел к нам язык письменный, возникла "славенская", самая первоначальная наша письменность. А затем, спустя буквально десять строк, Ломоносов укажет на посредническую миссию "славенского языка" между словом греческим и собственно российским, тем самым косвенно признавая достаточно высокий уровень развития нашего древнего языка: выполнить такую миссию, донести до россиян "отменную красоту, изобилие, важность и силу эллинского слова" мог только язык, не уступавший греческому в своих выразительных и изобразительных возможностях.

С одной стороны,— утверждение, что Русь до обретения ею "греческого христианского закона" была бесписьменной, с другой — убежденность, что "купно" с таковым обретением, т.е. вместе с ним, церковные книги переводятся "с греческого языка на славенский". Но последнее могло иметь место только при наличии развитой письменности. Не просто умения писать, а определенного опыта, навыка, национальных традиций "письменно изображать свои мысли". Отказывая нашим предкам в знании такого "употребления" языка и тут же признавая, что церковные книги на славенский язык переводились, хотя и "многие места оных переводов" были "недовольно вразумительны", Ломоносов явно противоречил сам себе.

В то же время нельзя не отметить, что именно Ломоносов первым обратил внимание на параллельное существование у нас *двух* письменных языков. Это он сделал в своем мнении-отзыве на рукопись "Опыта российской древности, собранной из греческих авторов" А.Шлецера (1764. Перевод князя Ив.Шихматова). Шлецер, писал Ломоносов, "поистине не знает сколько речи, в российских летописях находящиеся, разнятся от древнего моравского языка, на котором переведено прежде Священное Писание. Ибо тогда российский диалект был другой, как видно из древних речений в Несторе, каковы находятся в договорах первых русских князей с царями греческими. Тому же подобны законы Ярославовы, Правда Русская называемые; также прочия исторические книги, в которых употребительные речи в Библии

и в других церковных книгах, коих премного, по большей части не находятся..."[7].

Таким образом, корректируя свою собственную точку зрения, высказанную ранее в "Предисловии", Ломоносов прямо указывает, что наши далекие предки умели "письменно изображать свои мысли" на своем "российском диалекте" уже во времена военных подходов Киевской Руси на Византию и подвластные ей земли. Наглядное тому подтверждение — "договоры первых русских князей с царями греческими", которые были заключены задолго до обретения нами христианства. С другой стороны, Ломоносов недвусмысленно дает понять, что и после введения у нас христианства "российский диалект" сохраняется в своем природном виде. "Употребительные" тогда россиянами "речи" заметно отличались от языка Библии и превеликого множества церковных книг. Это было хорошо видно из древних речений в Несторе, "Русской Правды" и "прочих исторических книг".

Выходило, что введение на Руси христианства, переводы церковных книг, прекрасное "эллинское слово" оказали влияние не на собственно "российский диалект", не на всю "речь" наших предков, не на их язык в целом, а лишь на ту часть их языкотворчества и словесности, какая была связана исключительно с церковной, богослужебной деятельностью. Россияне продолжали говорить и писать на своем природном "российском диалекте", а церковь отправляла службу и осуществляла перевод Библии и "других церковных книг" на своем, особом языке, близком к древнеморавскому.

Так действительно ли обретение Русью "греческого христианского закона" и приобщение к красотам, изобилию, важности и силе "эллинского слова" посредством перевода церковных книг, оказало определяющее влияние на развитие отечественного языка, языка древних славян, наших предков, о чем с таким пиететом, восторженностью и признательностью писал Ломоносов в своем Предисловии "О пользе книг церковных в российском языке"? И если оказало, то как, каким образом? И почему в языке "российских летописей", языке Нестора, "Русской Правды", "прочих исторических книг" таковое влияние, по мнению-отзыву Ломоносова 1764 г., никак не обнаруживается? Наоборот, явно просматривается отличие российского языка того времени от языка, на каком были переведены Библия и другие церковные книги. "Российский диалект" существовал, сохранял свою независимость и развивался по своим собственным законам, неподверженный какому-либо заметному воздействию на него ни "древнего моравского языка", ни языка греческого, т.е. языка церковных книг.

Отзывом на "Опыт" Шлецера Ломоносов перечеркивал свою собственную концепцию возникновения и исторического развития отечественного языка как церковно-славено-российского, изложенную им в "Предисловии". Но что любопытно. Когда

Ломоносов писал это "Предисловие", ему было известно и то, что наши предки задолго до введения на Руси христианства умели "письменно выражать свои мысли", и то, что после введения христианства самобытный "российский диалект", значительно отличавшийся от языка переводных церковных книг, продолжал существовать и успешно развивался параллельно и независимо от языка "церковнославенского".

Уже в 1751 г., по собственному заявлению Ломоносова, он "читал... *Нестора*, законы *Ярославли*, большой Летописец, *Татищева* первый том..."[8], а к 1758 г.— времени написания "Предисловия" — им был полностью подготовлен первый том "Древней российской истории от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года", где прямо указывалось, что в сентябре 912 г. (т.е. за 77 лет до крещения Руси) Олег и греческие цари обменялись "взаимными *письменными* договорами" (выделено мною — *А.К.*), а далее приводился и текст договора Игоря 945 г.[9]. И хотя Ломоносов прекрасно сознает, что "российское слово... и собственным своим достоянием велико"(4), тем не менее, рассуждая "о пользе книг церковных в российском языке", он, вопреки известным ему фактам, проводит мысль, что до введения христианства и перевода церковных книг "славенский народ не знал употребления письменно выражать свои мысли...", и утверждает, что только "через употребление" таковых книг сформировался у нас "высокий штиль", которым "преимуществует российский язык перед многими нынешними европейскими", что именно от этих книг "мы приобрели... богатство к сильному изображению идей важных и высоких..."(3,5,7).

Естественно возникает вопрос: почему Ломоносов так поступает — простой ли это недосмотр, вызванный поспешностью, с какой создавалось им "Предисловие" вдогонку, как говорится, поступившему в типографию первому тому второго издания его "Собрания разных сочинений в стихах и прозе", или это сознательный, продуманный шаг, преследовавший вполне определенные как филологические, так и не филологические цели? Оставляя этот вопрос пока без ответа, замечу только, что феномен существования у нас, у россиян, *двух*, начиная со времени крещения Руси, *письменных* языков (отмеченный уже Ломоносовым, но никак им тогда не объясненный, хотя именно он в своем Предисловии "О пользе книг церковных..." предпринимает попытку объединения этих двух языков в один единый язык) не получил должного объяснения вплоть до настоящего времени.

3

И Тредиаковский, и Ломоносов прекрасно понимали, что все познается в сравнении. Особенно, когда речь идет об оценке

исторических событий и фактов, явлений национальной культуры, литературы и искусства прошлого. Тем более, если нужно определить значение события, положившего начало кардинальному перевороту в духовном сознании и мировоззрении предков, каковым оказалось введение на Руси христианства. Лишь сопоставив то, что *было* у нас до крещения, с тем, что *стало*, что появилось *нового* в нашем быте, культуре, языке, литературе и т.д. после принятия христианства, можно было оценить историческую роль этого события как в жизни страны и народа в целом, так и в развитии отдельных сфер и областей творческой деятельности россиян-русичей. В том числе их языка и литературы.

Однако оценить эту роль объективно, во всей ее полноте можно было лишь проведя *сравнительно-исторический анализ* состояния нашей литературы и языка до и после "наставшего благополучно Христианства", что, в свою очередь, потребовало создания соответствующего инструмента познания явлений и фактов прошлого — понятий, принципов, методов, методологии.

Не имея в своем распоряжении "самого малого обрасчика" языческой поэзии, т.е. сколько-нибудь достоверного свидетельства ее существования, Тредиаковский свои представления о языческом богочтительном и простонародном стихотворении вынужден был строить исключительно по принципу вероятности. При этом он прекрасно сознает всю относительность и умозрительность создаваемой, реконструируемой им картины, о чем сам же, будучи на редкость добросовестным исследователем, заранее предупреждал своих читателей: "...так что к показанию и определению первобытного нашего сложения стихов послужит мне, за неимением надлежащих и достопамятных, оставшихся от древности нашея, обрасцов, одна только *Вероятность...*" (496. Выделено мною — *А.К.*).

Основываясь на этом принципе, используя принцип исторической типологии и метод реконструкции явлений далекого прошлого, Тредиаковский дает первое понятие о нашей языческой, дохристианской поэзии, характере ее содержания и стихосложения, подразделяя ее на *богослужебную* — "песенные прославления мнимым (т.е. языческим.— *А.К.*) богам и богиням", "сплетенные песни стихами в похвалу идолам", и *простонародную* — песни пастушеские, увеселительные, молодецкие и т.п.

В то же время Ломоносов, имея в своем распоряжении достоверные сведения о существовании у "древних словен" собственной письменности, идет иным, чем Тредиаковский, путем. Он допускает — сознательно или бессознательно, скорее все-таки сознательно,— первую в истории отечественной филологии *фигуру умолчания*, являющуюся важнейшей составляющей *идеологического* принципа решения научных проблем, представляя народ дохристианской Руси бесписьменным, с ограниченным запасом слов и языком, неприспособленным для

обозначения (“ведения”) “многих вещей и действий, ученым народам известных...”(3).

Эти представления, при всей несхожести принципов, на которых они были основаны, и степени их достоверности даже относительно известных на то время фактов, были крайне необходимы как исходный материал, сопоставление с которым только и давало возможность показать утраченное и приобретенное Русью в ходе “наставшего благополучно Христианства”. Без таких представлений любой разговор о том, что же “истребило”, что не тронуло, а чем “наградило” нас христианство, какая и в чем заключалась “великая” от него польза для нашей литературы и языка, был просто немыслим. И этих представлений оказалось достаточно, чтобы такой разговор состоялся, чтобы необходимый для него сравнительно-исторический анализ был осуществлен, в процессе которого Тредиаковский и Ломоносов сумели выработать самое первое у нас понятие о роли нового вероучения в судьбе отечественной поэзии (литературы) и языка, отметить как позитивные, так и негативные последствия его введения для нашей словесности того времени.

Обращение ведущих филологов XVIII в. к эпохе крещения Руси, к самому раннему этапу в истории отечественного языка и литературы привело к рождению у нас *сравнительно-исторического литературоведения и языкознания.* Осваивая принцип вероятности, методы исторической типологии, сравнительного изучения явлений прошлого и их реконструкции, приобретая опыт научного и, к сожалению, ненаучного, идеологического подхода к исследованию нашей древнейшей словесности, Тредиаковский и Ломоносов стояли у истоков целого ряда национальных историко-филологических наук (истории русской литературы, истории русского языка, истории русской письменности и т.д.), закладывая основы и традиции нашей историко-филологической мысли, открывая первые страницы в познании многовекового пути, пройденного в своем развитии русской литературой и языком.

Они обозначили предмет исследования — отечественная литература, язык и письменность *до и после* принятия христианства. Выработали первые понятия и представления о древнейшей нашей словесности. Наметили контуры ее периодизации, указав на важнейшую хронологическую границу — крещение Руси — между двумя периодами первоначальной ее истории. Обратили внимание на роль внехудожественного, идеологического фактора — события гражданской истории — в развитии литературы и языка русичей, каковым явилась у нас смена религии, вероучения.

Так был определен основной круг проблем и вопросов, вставших перед нашими национальными историко-филологическими науками уже при их рождении, а также обозначены принципы и методы их решения. И в дальнейшем наша историко-филологическая мысль XVIII — начала XIX столетия в

своем познании отечественной словесности шла по пути, проторенному Тредиаковским и Ломоносовым, используя сравнительно-исторический и историко-типологический методы, а также метод реконструкции явлений прошлого по известным настоящему фактам, опираясь при этом как на принцип вероятности, так и на принцип *достоверности*, также введенным в нашу науку Тредиаковским. А определение характера и содержания дохристианской нашей поэзии и возможностей древнего "словенского" языка остается одной из важнейших научных задач, не потеряв своего значения вплоть до настоящего времени.

---

1 Тредиаковский В.К. Сочинения и переводы как стихами так и прозою: В 2-х т. СПб., 1752. Т. I. С. 170.

2 Там же. С. 165, 170.

3 Там же. С. 170-171.

4 Там же. С. 170.

5 Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие, 1755, Июнь. С. 469. Далее ссылки на это издание в тексте с указанием страницы.

6 Ломоносов М.В. Собр. разных соч. в стихах и прозе: В 2-х кн. Изд. 2-е, с прибавлениями. М., 1757. Кн. 1. С. 3-4 (Первой пагинации). Далее ссылки на это издание в тексте с указанием страницы первой пагинации.

7 Билярский П.С. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865. С. 704.

8 Там же. С. 163.

9 Там же. С. 302; Ломоносов М.В. Древняя Российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года. СПб., 1766. С. 66, 69-72 (См. также: Ломоносов М.В. Полн.собр.соч.: В 10-ти тт. М.-Л., 1952. Т. 6. С. 224, 227-230).